

Истории науки

Статья посвящена истории одного из самых известных московских центров лингвистики и семиотики второй половины двадцатого века в России – Отдела семиотики / теоретических проблем информации Всесоюзного / Всероссийского Института научной и технической информации (ВИНИТИ) Российской академии наук и роли Григория Ефимовича Крейдлина в его жизни.

Ключевые слова: Семиотика, история лингвистики, ВИНИТИ РАН, Г.Е. Крейдлин.

Мое знакомство с Гришей случилось прозаически: меня взяли на работу во Всероссийский институт научной и технической информатики, в отдел, который тогда назывался Отделом семиотики, где Гриша уже давно работал.

Институт располагался удобно – недалеко от метро Сокол в тихом Балтийском переулке, и от дома мне было туда идти пешком минут двадцать неспешным шагом. Это было странное, немножко нелепое, но уютное здание – говорили, в прошлом богадельня. Прежняя аура в нем прижилась надолго: коридорные стены были какие-то больнично-зеленые, и, кажется, там никогда не мыли окна. На третьем этаже, где располагалась дирекция, вдоль широченной лестницы висела огромная стенгазета – под названием что-то вроде «Комсомолия». Она добавляла ауры: меня чуть не исключили из комсомола за то, что закончив университет, я не встала на время летнего перерыва на комсомольский учет в ЖЭК. Потом, правда, ограничились строгим выговором, ради которого мне пришлось ехать куда-то в райком (может быть, выговор выдавали на руки? – уже не помню).

Когда ко мне как-то заглянул по делу один мой приятель, совсем из другого мира, он рассказывал, что пока он шел к нам по четвертому этажу, двери по одной приоткрывались, и он с любопытством разглядывался: редкие гости вызвали интерес и разнообразили тусклую жизнь.

Гости действительно были редки – потому что внизу сидела вахтерша и строго проверяла пропуска. Это было неслыханно для

академической жизни тех времен: вахтеры, конечно, были, но для чего-то другого: в гуманитарном корпусе МГУ пропусков никогда не спрашивали, в наших академических институтах, расположенных в тихих московских переулках (а вовсе не в стеклянных башнях на Ленинском проспекте), тоже пропускали всех. Предъявление пропуска сотрудником, которого вахтер знает в лицо (у них у всех ведь профессиональная память, и меня они запоминают сразу, за рост), мне и сейчас кажется лишним делом – тогда спорт состоял в том, чтобы пропуск не предъявить, а убежать от буйной вахтерши на четвертый этаж, куда ей точно не добраться. Там, на четвертом этаже, в дальнем конце коридора, мы жили – и эта жизнь в двух маленьких смежных комнатах совсем не была тусклой.

Комнат было две – одна побольше, квадратная, метров 14, а за ней поменьше, запроходная, длинным пенальчиком. Там жил Виктор Константинович Финн и его команда. Дверь закрывалась – происходили какие-то семинары, обсуждения, в общем – наука, целый Финнский мир. В нем, между прочим, было много молодежи, в основном из Физтеха от Дмитрия Александровича Поспелова (Маша Михеенкова, Миша Забежайло, попозже – Сережа Кузнецов), но и молодые тогда математики – Дима Скворцов и Петя Кулунков. Осталась история-диалог, как Маша Михеенкова рассказывала Виктору Константиновичу о том, кто к нему заходил в его отсутствие. – *Мужчина?* – спрашивал Финн. – *Мужчина.* – *Молодой?* – *Да нет.* – *Понятно. А сколько примерно лет?* – *Ну, не знаю, лет тридцать.* Нам было существенно меньше. Тридцать казалось почти запредельным возрастом.

Команда Финна была частью общей тусовки, мы вместе пили чай, ездили на картошку и сдавали профсоюзные и комсомольские взносы – но их наука жила отдельно, за дверью, и пользовалась негласным почтением.

Все остальные помещались в другой комнате. Прежде всего, Гриша. Он занимал отдельный угол с мебелью: маленьким столиком со слегка драным зеленым сукном в углу слева от входной двери. Стол был богатством и роскошью. В этом углу Гриша жил. Другой стол, побольше и не такой красивый, был у Эдика Стоцкого – математика, и он располагался у правой стены между окном и дверью к Финну. Эдик тоже часто бывал на работе, потому что ему было близко от дома. Он был очень симпатичный скромный человек и много интересного рассказывал. Главный стол стоял почти посередине – огромный и письменный. Это был стол Елены Викторовны Падучевой – и может быть, отчасти (Владимира Андреевича) Успенского – но они приходили редко. Елена Викторовна влетала как вихрь и Снежная королева – открывала дверцу тумбочки стола, вы-

двигала ящик, что-то там подхватывала, всегда уносила стопки на огромные множительные аппараты (язык не повернется назвать их ксероксами), которые располагались в недрах ВИНИТИ, приносила оттуда пачки бумаг, иногда бегло пила чай и улетала. Вместо нее за стол приходили Шакуров, математик, ученик Манина, Володя Борщев, а за стоцкий стол иногда присаживался Юлий Анатольевич Шрейдер с кем-то из аспирантов или с Михаилом Викторовичем Араповым, своим верным соавтором и соратником. В кресле рядом со столом размещался Марлен Абрамович Пробст, семиотик. Он придавал креслу уют и делал его конституирующим объектом. Его заместителем в кресле была Надежда Митрофановна Ермолаева (жена знаменитого математика Мучника и мать не менее знаменитого математика Мучника-младшего) – добрейшая, она приносила к чаю вкусное: соленые сухари из черного хлеба на всех. Между двумя комнатами бегала веселая Лена Фабрикантова, тогда аспирантка МИИТа, а над всем этим витала главная Лена – Лена Гинзбург, наш профорг, – и ведала нами. Она тоже сидела в кресле.

Все эти люди работали в отделе, когда я туда пришла – и наверно, я кого-нибудь забыла. Наша коммуналка была очень дружная и симпатичная. Она жила своей жизнью, совершенно отделенная от остального винитийского мира. Объединяла нас не наука, которая была у всех своя, а открытая амбарная книга. Она всегда лежала на столе, и Лена своим круглым почерком переписывала всех нас еженедельно, чтобы каждый расписался дважды: приход в 9.15, уход в 18.00.

Понятно, что если бы все вдруг пришли на работу одновременно, как положено, пришлось бы занимать очередь на вход. Но все и не приходили – происходила какая-то саморегуляция, и хотя чай был обязателен и пили его массово, а в столовую на первый этаж тоже ходили компаниями, никто не толпился и не толкался. Молодежи негласно полагалось бывать часто. Мы с Гришей были молодежью.

Конечно, Гриша меня старше на много лет – и для меня он никакой молодежью не был: он был известный лингвист. Я конспектировала в курсе синтаксиса его знаменитую статью с Еленой Викторовной про А и НО, а в курсе семантики – статью в Семиотике и Информатике (журнал недостижимой высоты) про ДАЖЕ. И мы, конечно, были на вы. А у Гриши известный педагогический талант – и я даже не заметила, как стала писать с ним статьи. Он совершенно упорядочил мою жизнь: утром надо было приходиться на работу, садиться к зеленому столу напротив Гриши и писать (рукой! ручкой!) с ним хором разные тексты. С тех пор я люблю и умею писать хором (а ведь многие люди лишены этого удовольствия) – и вообще, постепенно, благодаря этим разговорам с Гришей, научилась складывать слова в более-менее связные академические предложения.

Два слова отступления про педагогический талант. Потом, когда Гришу уволили, он сразу пошел преподавать математику в школе, как его отец – но мне помнится, что какое-то отношение к школе он имел уже в винитийскую эпоху. В любом случае, на мне Гриша свой талант оттачивал – по-настоящему он реализовался потом, но и для меня самой масштабы Гришиного дарования тоже открылись много позже, когда подросла наша старшая дочь Надя. Надя училась в известной 57 школе в гуманитарном классе и была многогранным гуманитарным ребенком. Выучить ее математике никто не мог – хотя, кстати, по геометрии у нее в старших классах была твердая пятерка. Зато по алгебре... В отчаянье я позвонила тогда Грише: экзамен был на носу. Гришу мои дети обожали. Как-то раз он приехал к нам на дачу и поразил навсегда своими загадками про сороконожку (что такое «тридцать девять – бум?»), раз-два-три-четыре-шесть (– аппетита нету < а пяти-то нету) и так далее. Он знал их сотни, дети стояли раскрыв рот, а потом хохотали до упаду. Наверно, это и был главный Гришин секрет: он привороживал к себе детей, а учил уже привороженных. К Наде Гриша пришел сразу – и приходил раза два-три, не больше, этого вполне хватило: она сразу перестала бояться экзамена и все сдала. Никто не мог поверить – и, собственно, до сих пор не может – это было какое-то удивительное волшебство, после которого я окончательно уверовала в Гришин дар – а тогда я, конечно, о нем не думала: мы просто вместе писали статьи.

В отделе выдавалась бумага – странного свойства: она немножко была похожа на кальку, довольно желтая, очень тонкая, скользкая и шуршачая. Новая, она была хорошо пригнана в пачке, но если на ней писать, она как бы теряла форму и образовывала аморфные кучи, потому что листы плохо ложились друг на друга. Эти кучи росли по мере работы и только потом превращались в текст. Помню, однажды я случайно потеряла сумку: после работы разгуливала с приятелями по Москве и оставила где-то на уличной скамейке. Там было все мое достояние: ключи, кошелек, абсолютно необходимая старая потрепанная телефонная книжка – но их пропажа меня не так волновала. Главное горе было в том, что в сумке лежал ворох будущей статьи большим Гришиным почерком – больше месяца работы. Ужас: как сказать Грише? Счастье: в сумке было неотправленное письмо с обратным адресом, по нему и телефонной книжке ее быстро вернули добрые люди. Кажется, Гриша до сих пор не знает...

Мы писали рукой, потому что компьютеров еще не было – по-настоящему они появились почти на 10 лет позже. В отделе было две машинки, они громко стучали, и работать на них в коммунальном пространстве было, конечно, трудно. Мы печатали на них заявле-

ния об отпуске и прочие мелкие бумаги, но большие научные тексты сначала писали, а потом дома перепечатывали и одновременно правили. (У некоторых моих знакомых старшего поколения и до сих пор осталась эта привычка). А потом – правили снова, забеливали опечатки или заклеивали их специальной лентой, а то и просто кусочком белой бумаги – и забелка, и ножницы, и запасная лента для машинки, как волшебные палочки, всегда лежали в правом верхнем ящике у Елены Викторовны и были частью ее нездешнего образа. Однажды лента кончилась неожиданно – и я простосердечно постучала в ближайший отдел напечатать пустяковую служебную записку – как к соседям за солью. Моя просьба вызвала такие недоуменные и настороженные выражения тамошних лиц, что я расстроилась: ведь рабочая машинка стояла у них на столе безо всякого применения. Тут-то мне и объяснили старшие, что машинки имеют номера и что по особенностям клавиш они могут быть однозначно определены, если посмотреть профессионально на отпечатанную бумагу. А мало ли, в самом деле, что могут напечатать на их машинке эти, из неблагонадежного отдела?

Отдел был и правда, подозрительный и не очень благонадежный. Достаточно того, что не так уж давно в нем работал Есенин-Вольпин. Однако и с его уходом отдел не улучшился радикально: все как-то все делали не совсем так, как принято. Были члены партии – вот например, Юлий Анатольевич Шрейдер. Но одновременно он был католиком и любил рассказывать, как встречался с Папой Римским. Были политинформации – кажется, по понедельникам, проводил их Михаил Викторович Арапов – но почему-то по польским газетам. Были поездки компаниями на коровинскую овощную базу по разнарядке. Гриша поражал меня тем, как он легко боролся с огромными картофельными мешками, Виктор Константинович сочинял стихи про мерзлую морковь, и мы все хохотали и хохотали просто от полноты жизни – но всегда получали коллективный выговор от винитийского куратора, маленького географа с большим воспитательным потенциалом. Воспитывал он прежде всего беззащитную Елену Викторовну, которая плохо укладывала капусту и не испытывала по этому поводу угрызений совести. Боюсь, она этого не замечала и наверняка не помнит, а он – переживал.

Дело даже не в диссидентстве, которое, по крайней мере в то время, когда я пришла в Отдел, было вполне умеренным и по-моему, совершенно не опасным. Дело было в том, что это был единственное целиком и полностью научное подразделение в институте, который в целом занимался вторичной обработкой информации – изготовлением рефератов, обзоров, отчетов, должностных и других инструкций и прочими обслуживающими науку вещами. В нашем отделе

почти у всех сотрудников была своя область научных интересов и собственных научных исследований, то есть какая-то другая внутренняя жизнь, помимо обычных для всех винитийских приходов, уходов, столовой, покупки мяса в ларьке на первом этаже и лотерейных розыгрышей по четвергам притягательных (в особенности рыбных) продуктовых заказов. Собственная научная жизнь каждого давала свободу, потому что ее почти нельзя контролировать. И свобода витала вокруг нас, а мы в ней жили. Наверно, это тоже было заметно со стороны.

Прямо с утра мы с Гришей садились писать и придумывать. Кажется, первым нашим текстом была статья про референциальный статус отглагольных имен. Мода на теорию референции пришла, конечно, от Елены Викторовны. Гриша подхватил, и мы придумали про гипотетический статус имен в креативных контекстах (типа *строит дом* – ведь дома еще нет, так что будучи определенным, он не может быть конкретнореферентным) и что-то еще на эту тему. Статью напечатали в винитийском журнале «Научно-техническая информация (НТИ). Серия два». Тогда он процветал: на другом этаже размещалась его большая редакция, во главе с ироничной Татьяной Николаевной Лаппалайнен, и хорошо отредактированные номера почти целиком, хотя и с большим опозданием, переводились издательством Springer. Это я обнаружила много позже: как выяснилось, авторам переведенных статей полагались выплаты через агентство авторских прав.

Понятно, что статья получалась не сразу, хотя почти каждое утро мы с Гришей садились работать. Важным перерывом был обед: в компании мы шли в столовую, где Гриша почему-то всегда брал два компота. Позже садились на полчаса пить чай со всеми. За чаем всегда было интересно: кто бы ни пришел, компания всегда складывалась неординарная.

Наверно, для коммунального пространства мы с Гришей работали довольно шумно и обсуждали свою науку иногда излишне страстно: с моей стороны, в том возрасте, подозреваю, компромиссы были вряд ли возможны – только честный спор. Конечно, мы спорили, и это было увлекательно. Но никто нам никогда не делал никаких замечаний и не ставил ограничений: в той же комнате параллельно прекрасным образом шла другая жизнь. Помню, однажды Володя Борщев принес нам шоколадку – может быть, ему казалось, что мы поссорились? – мы страшно удивились: наши конфликты были локальными и исключительно научными, к повседневной жизни с Гришей они не имели отношения – она была безоблачна.

Всем известно, что Гриша потрясающий сочинитель. Он сочиняет сходу и так, что не всегда отличишь правду от небылицы. Я очень

доверчива и не отличаю до сих пор, поэтому на мне ему очень легко было оттачивать свое мастерство. Фантастические рассказы про каких-то его друзей, небывалые приключения и путешествия его самого и каких-то дальних родственников перемежались с рассказами про сына Леню, Гришину замечательную маму, которая привила ему любовь к польскому и Польше, про отца, знаменитого школьного учителя, про жену Аллу, которая фантастически умеет учить немецкому и которую обожают ученики, Сашу Чехова, с которым я сначала познакомилась именно в Гришиных вдохновенных рассказах, а потом уже – лично, Фиму Гинзбурга, про которого я знала столько восторженного, а видела всего раз в жизни, и так далее, и так далее.

Рассказы про приключения (взаправдашние или фантастические) меня особенно воодушевляли: в то время я довольно много путешествовала. Гриша рассказывал, как они с Леной Саввиной ездили в Кишинев и исследовали все дегустационные подвалы, так что теперь он, Гриша, все знает, куда точно там надо идти и что пробовать. В рассказах Кишинев был упоителен – очень хотелось в Кишинев. Рассказы, конечно, были неспроста: именно в Кишиневе скоро собиралась какая-то конференция, на которую можно подать тезисы. Мы срочно их написали.

Тут нужно сделать необходимое отступление. Дело в том, что в этом странном институте был порядок, с которым другие гуманитарии вряд ли знакомы: любой печатной продукции полагалась предварительная экспертиза. Она осуществлялась в три этапа: сначала текст должен был быть прочитан одним (или двумя?) членами специальной кем-то утвержденной экспертной комиссии, которые расписывались в специальном бланке. Бланк надо было заполнить и отдать на подпись вместе с текстом статьи. Потом он переходил к начальнику отдела, он тоже расписывался, а потом автор относил бланк в так называемый первый отдел – странную комнату на втором этаже с тяжелой дерматиновой дверью и непроницаемой женщиной за конторкой. Там на него ставили окончательную подпись и печать, и только в сопровождении этой внушительной печати можно было сдавать текст в редакцию. Главное, что должны были подтвердить эксперты, подписывая бланк, это то, что в работе не содержится ... никакой новизны. Именно это мы сами вписывали в бланк черным по белому.

Впрочем, функции экспертов были много шире: они должны были прочесть и одобрить текст будущей публикации, без их одобрения в нашем институте печататься было нельзя.

Куда в тот момент делся Гриша, я не помню. Думаю, он выбрал доброго эксперта и решил, что я справлюсь сама. Эксперт представ-

лялся нам симпатичным, он заведовал дружественным отделом, где незадолго до этого работала Саша Раскина – но встретил меня неласково:

– *Вы вообще понимаете, о чем вы пишете? Что вы мне принесли?*

Я понимала: одна страница тезисов на конференцию в Кишинев про вопросительное какой в русском языке.

– *Вы посмотрите на свой текст! «Какой писатель венчался в Бердичеве?» – ну, положим, у меня мама из Бердичева, но ведь это не значит, что нужно про это писать! И потом, тут же, рядом, у вас еще и другой пример: «Какое вино вы предпочитаете в это время дня?» Вы что, не читаете газеты? Вы разве не знаете, что у нас в стране идет борьба с пьянством? Как же можно в такой политический момент подавать тезисы с этим материалом?*

Так мы с Гришей не поехали в Кишинев – хоть и очень веселились по поводу этой истории. За стенами Отдела семиотики шла другая жизнь: там не смеялись смешному и в страхе дули на воду. Для меня Кишинев остался городом, придуманным Гришей: с тех пор я так никогда там и не была.

Самое удивительное в Грише – это сочетание бесконечной творческой фантазии с внутренней приверженностью к организованности жизни «по правилам». Когда-то Володя Борщев заметив это важное и, в общем, необычное для научной среды свойство в своей жене Барбаре Парти, пошутил: *у меня жена очень порядочная* (от слова *порядок*). Говоря Володиными словами, Гриша – *необычайно порядочный*, иногда это оказывалось существенным.

Конечно, мы не все время сидели в ВИНТИ: нам положен был библиотечный день. В этот день в амбарной книге делалась запись «работа в библиотеке» – и человек официально получал вольную. Гриша всегда писал: «в библиотеке Иностранной литературы», такая конкретизация, как и его «библиотечные» истории (кого-то встретил, что-то прочел), выглядели, честно сказать, несколько нарочито. (Наверно, многие сотрудники, а особенно аспиранты, в библиотеки ходили, но вряд ли по винитийскому расписанию: целый будний день жизни! – соблазн слишком велик). Бывало, что нас проверяли – день проверки был известен заранее, так что мы готовились. Приходила толпа начальников, недовольно рассматривала амбарную книгу и слишком нетипичные лица сотрудников, а потом торжественно уходила. Запись «работа в библиотеке» всегда действовала безотказно. А потом случилась неожиданная спецпроверка – ее придумал один из наших местных винитийских самых знаменитых злодеев – Лев Львович Гвоздев, в то время начальник отдела кадров. Тогда он охотился за Гришей и решил вменить ему

отсутствие на работе по неуважительной причине. Никто не знал о его страшном плане – а он в тот самый «библиотечный день» взял и позвонил в Иностранку с требованием позвать к телефону младшего научного сотрудника Крейдлина. Гвоздев-план провалился: Гриша подошел к телефону. Так мы убедились, что все Гришины библиотечные рассказы были правдой: библиотечные дни Гриша всегда действительно проводил в библиотеке.

Кроме библиотек, нам разрешены были походы на семинары – все семинары проходили ближе к концу рабочего дня, так что убыток для посещаемости и наших с Гришей статей был небольшой. Наших общих с Гришей семинаров тогда, в до-Арутюновскую эпоху, было два: один в Информэлектро у Юрия Дерениковича Апресяна и другой в Институте языкознания у Елены Михайловны Вольф.

На семинар Апресяна попадали по пропуску и приглашению: Информэлектро был отраслевым и почти режимным. А Гриша был там совершенно родным, хотя и работал в другом институте. И Игорь Богуславский, и Леня Иомдин, и Саша Чехов (который тогда с ними работал), и даже сам Юрий Дереникович – все это были его давние друзья, крепкое научное почти сугубо мужское братство, разработчики одной из первых систем машинного перевода, все до одного – строгие рыцари модели «Смысл \Leftrightarrow Текст» и Московской Семантической Школы. Другие, в том числе и такие прекрасные дамы, признанные и желанные участницы семинара, как Татьяна Вячеславовна Булыгина или Елена Викторовна Падучева – тем не менее, научно стояли чуть-чуть поодаль: Елена Викторовна в шутку называла себя «подмосковной школой». Благодаря Грише, я вошла, конечно, не в ближний, но в недалекий круг и стала не только постоянно бывать на семинаре, но и получила приглашение от Юрия Дерениковича выступить с докладом. Постепенно Информэлектро (а потом ИППИ) превратилось и в часть моей научной жизни, в место для обкатки «устных препринтов» (я всегда сначала рассказываю будущую статью, и только потом пишу). Семинар, как и вся команда, тоже был строгий: строгие вопросы, всегда непростые замечания и обсуждения всерьез, без скидок даже друзьям и без вежливых похвал. Ничего парадного: чистая наука. Было страшно, но здорово.

У известного романиста Елены Михайловны Вольф – добрейшей и очень обаятельной, братство было сугубо женским: она собирала своих аспиранток и учила их лингвистике, иногда с помощью проходящих гуру – Гриша был одним из ее любимых гур, и он иногда брал меня. Это были прогулки совсем иного рода: там, в Институте языкознания, Гриша превращался в Григория Ефимовича и совершенно царил, серьезно отвечал на смешные вопросы, экзаменовал и просвещал. Я слышала, как под знаменитой институтской лестницей

(там тогда стоял большой кожаный диван, и никакого вахтера!) две девушки обсуждали трудности лингвистической теории и сетовали, что не учились на ОТиПЛе, как Гриша: ведь те, кто заканчивал это знаменитое отделение, умели даже ... отличать тему от ремы!

Шутки шутками, а Институт языкознания (в отличие от Института русского языка) жил тогда очень насыщенной научной жизнью: процветали африканские и кавказские языки, формировался отдел языков мира, отдел общего языкознания был на взлете – и скоро – но только в конце 1980-х, в перестройку – прославился семинарами и конференциями Нины Давидовны, – и даже институтская психолингвистика, благодаря Ревекке Марковне Фрумкиной и ее ученикам, искрилась идеями. Но ведь открытых постоянно действующих семинаров нигде не было, это было не принято, а может быть, даже нельзя? Семинары были локальные, и на них иногда приглашали внешних участников. (Зато, как известно, были научные семинары, которые регулярно собирались в домах и квартирах – у Фрумкиной, у Козинского, потом у Крылова...). Вполне возможно, наши с Гришей семинарские походы не были такими уж законными.

Благодаря Грише я легко стала частью Отдела – ведь я бывала там почти каждый день. Но и сам Отдел благодаря Грише был тем самым Отделом. В моем представлении в Грише вообще есть что-то от Тома Сойера: его добрая энергия все превращает в праздник – и у нас были непрерывные праздники, а к ним мы бесконечно сочиняли какие-то капустники, репризы, пьесы, поздравительные телеграммы от лица овощной базы или (почему-то) – В. А. Белошапковой (Виктора Константиновича почему-то вдохновляла и завораживала ее необычная фамилия). Главными сочинителями – наперебой – были Гриша и Виктор Константинович: новые года, всякие дни рожденья (и в их числе – мое собственное 25-летие), три знаменитые грузинские конференции под сомнительным названием «Семиотические аспекты интеллектуальной деятельности» – все это сопровождалось веселым сочинительством. Помню оперу под названием «Надежда Митрофановна и волк» – но по какому случаю? Почему волк? – уже утрачено.

Для меня эта сторона отдельской жизни была естественным продолжением – моей школы, где было так много блестящего сочинительства, потом осипловских экспедиций, особенно табасаранской и андийской, с их богатым фольклором. Теперь я понимаю, что это мне так повезло, а еще тогда была особенная эпоха, и она прошла: взгляд на мир изменился.

В ВИНТИ это произошло, когда уволили Гришу.